

Анна Ердакова



**Комедия
чистосердечия**

Анна Ердакова

Комедия чистосердечия

<https://litres.ru/73997069>

SelfPub; 2026

Аннотация

Осторожно: эта книга вызывает неконтролируемую искренность.

Санкт-Петербург, 1913 год. Скромный чиновник Ипполит Перетыкин получает в подарок на именины диковинный аппарат — «Радиофонографь Муркина». Изобретатель клянётся: машина снимает барьер между мыслью и словом. То есть заставляет врать. А вот и нет — говорить правду. Самую горькую. Самую неудобную. Ту, которую вы десять лет скрывали от жены, начальника и собственного зеркала.

Аппарат включается сам. И тогда начинается ад. Тёща признаётся в многолетней ненависти к зятю. Супруга — что она фальшивит за фортепьяно уже пятнадцать лет. Попугай цитирует биржевые сводки 1882 года. Мебель даёт советы. А сам Перетыкин вдруг называет своего начальника бездарью. Увольнение? Смоленская губерния? Это только цветочки. Ягодки — когда выяснится, что никакого поля не было, или было!

Ироничная, горькая и невероятно смешная история о том, что правда — это не электричество. Это выбор. И что иногда ложь — единственное, что спасает брак.

Содержание

Глава первая. Именинный пирог с электричеством	4
Глава вторая. Инструкция, которой не суждено было выжить	16
Глава третья. Визит Козодоева, или Гибель карьеры	31
Глава четвёртая. Зинаида играет гаммы откровений	49
Глава пятая. Признания тёщи на сон грядущий	64
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Анна Ердакова

Комедия чистосердечия

Глава первая. Именинный пирог с электричеством

Когда бы в Санкт-Петербурге, в том благословенном 1913 году, существовала премия за самое обыкновенное лицо, — Ипполит Анемподистович Перетыкин получил бы её без конкурентов, и притом с формулировкой «пожизненно и без права обжалования».

Лицо его было из разряда тех, которые решительно невозможно описать в полицейском протоколе. «Особых примет нет», — вздохнул бы околоточный надзиратель, вертя бедного Перетыкина за плечи, и был бы глубоко прав. Нос? Нос как нос, не скажешь, что украшение, но и не бедствие. Глаза? Ни голубые, ни серые, ни карие, а так — неопределённого цвета, какой бывает у осенней невской воды, если смотреть на неё с Литейного моста после третьей рюмки. Рост? Средний. Комплекция? Умеренная, хотя к сорока двум годам намечалось некоторое округление в области, которую тёща именовала «брюшком», а сам Ипполит Анемподистович, будучи в хорошем расположении духа, ласково называл

«трудовой мозолью чиновника». Волосы на голове ещё держались, но уже сдавали позиции — медленно, но, верно, как русская армия при Аустерлице.

Служил он в акцизном ведомстве — месте, где сама атмосфера способствует воспитанию человека положительно-го, неторопливого и глубоко убеждённого, что любое резкое движение либо противозаконно, либо облагается пошлиной. За пятнадцать лет беспорочной службы Перетыкин достиг чина титулярного советника и той степени душевного равновесия, при которой человек уже не мечтает о повышении, а только молится, чтобы не сократили.

Впрочем, в этот майский вечер мысли Ипполита Анемподистовича были далеки от акцизных материй. Он праздновал именины.

Праздновал — сказано, конечно, слишком громко. Правильнее будет сказать: он принимал именины. Ибо именины устраивала жена, а он именно что принимал их, как принимают лекарство, с пониманием необходимости, но без особого аппетита.

Зинаида Пална, супруга его, была женщиной высокой, статной и обладала той особенной, несколько трагической красотой, которая будто бы постоянно намекает: «Я достойна лучшего, но уж что Бог послал — несите, голубчик, не жалуйтесь». В молодости она училась в консерватории, подавала надежды и даже, по её собственным словам, была отмечена самим Рубинштейном. Правда, злые языки утверждали,

что Рубинштейн всего лишь спросил у неё в коридоре, который час, но сама Зинаида Пална эту версию решительно отвергала. Как бы то ни было, ныне единственным её слушателем был супруг, единственным инструментом — расстроенное фортепьяно красного дерева, а единственным репертуаром — «Молитва девы», пьеса, которую она исполняла при гостях с таким выражением лица, будто лично вымаливала у небес прощение за свой неудачный брак.

— Ипполит, — сказала она, вplывая в гостиную и поправляя причёску, которая напоминала Вавилонскую башню в момент её наивысшего расцвета. — Ты опять сидишь в халате! Гости будут через полчаса. Что о тебе подумают?

— Что я человек домашний, не чинящийся, — благодушно отвечал Перетыкин, не отрываясь от вечерней газеты.

— Именно! Не чинящийся! Как самовар! — в голосе Зинаиды Палны послышались металлические нотки, которые супруг многолетним опытом научился распознавать как предвестники бури. — А порядочные люди к именинам облачаются в сюртук!

Ипполит Анемподистович вздохнул, сложил газету и отправился переодеваться, размышляя про себя о той странной закономерности, что чем выше у женщины причёска, тем ниже её мнение о мужнином гардеробе.

Когда он спустился в гостиную, застёгнутый на все пуговицы и при галстукe, картина уже изменилась. Посреди комнаты, словно полководец перед битвой, стояла Клеопат-

ра Саввишна, тёща его, и командовала расстановкой закусок. Тёща была существом особого порядка. Если бы природа задалась целью создать идеальный инструмент для изведения зятя, она бы сотворила именно Клеопатру Саввишну — и, закончив работу, с гордостью бы сказала: «Вот теперь он у меня попляшет». Это была дама лет шестидесяти с лицом, на котором благочестие боролось с желчностью, причём, по наблюдениям Ипполита Анемподистовича, желчность неизменно побеждала — примерно со счётом 7:3, как у хорошей футбольной команды. Она носила тёмные платья, пахнущие лавандой и уксусом, и обладала удивительной способностью извлекать из любого разговора мораль, причём непременно такую, которая выставляла собеседника в самом неприглядном свете.

— Зятюшка, — пропела она, завидев Перетыкина, — вот вы всё газетки почитываете, а того не ведаете, что курица-то нынче на три копейки за фунт подорожала. А почему? А потому, что война эта Балканская. А война почему? А потому, что люди Бога забыли. Так-то.

Ипполит Анемподистович хотел было заметить, что, насколько ему известно, Балканская война случилась из-за вопроса о македонских границах, но благоразумно промолчал. За пятнадцать лет брака он вывел непреложный закон: любое возражение тёще приводит к лекции, длящейся ровно втрое дольше первоначального замечания.

В углу гостиной, на специальной подставке, возвышалась

клетка с попугаем Карлом — птицей, которую тёща приобрела по случаю у какого-то отставного циркового артиста. Попугай был серым, старым и, казалось, единственным существом в доме, которое относилось к Перетыкину без предубеждения. Впрочем, и без почтения тоже. На любой звонок в дверь Карл реагировал одинаково — пронзительно выкрикивал «Провокация!» и замолкал до следующего гостя. Откуда у него взялось это слово, оставалось загадкой; тёща утверждала, что птица набралась его от зятя, намекая на его политическую неблагонадёжность.

Первым из гостей явился сослуживец, коллежский асессор Пётр Силантьевич Треухов — человек с лицом, напоминающим печёное яблоко, и манерами, напоминающими печёное яблоко, забытое в духовке. Он был тих, застенчив и, по слухам, двадцать лет писал трактат «О влиянии лунных фаз на урожайность репы в Олонецкой губернии», который никто не читал, включая, подозревал Перетыкин, самого автора.

— С именинами-с, — прошелестел Треухов, вручая имениннику свёрток. В свёртке, как и в прошлом году, и в позапрошлом, оказалась бутылка хереса — напитка, который сам Треухов не пил, но искренне полагал верхом гастрономической роскоши. Перетыкин знал, что бутылка эта кочует по городу уже лет пять, переходя из рук в руки на именинах и крестинах, и что пробовать её содержимое не рекомендовалось бы даже врагу. Он сердечно поблагодарил дарителя и

поставил херес на буфет, к двум другим таким же.

Затем прибыли: супруги Лямины (муж — огромный, молчаливый, похожий на шкаф красного дерева; жена — маленькая, говорливая, компенсирующая супружескую молчаливость удвоенной скоростью речи), старая дева Аглая Филипповна, дальняя родственница с той стороны, с которой у Перетыкина родственников, по его расчётам, быть не могло — но они были, и ещё какие, — и, наконец, главный гость, ради которого, как подозревал Ипполит, и затевалась вся церемония, — доктор Павел Ильич Муркин.

Доктор Муркин был личностью примечательной. Представьте себе человека, в котором учёный борется с фантазмом, причём оба проигрывают, а побеждает нечто третье — не то шарлатан, не то гений, не то просто очень увлекающийся болтун. Он был невысок, вертляв, носил пенсне на шнурке, которое постоянно терял, и имел привычку в разговоре хватать собеседника за пуговицу — жест, который Перетыкин ненавидел всей душой, ибо после каждой встречи с Муркиным обнаруживал на сюртуке отсутствие как минимум двух означенных деталей.

Муркин увлекался решительно всем: гипнозом, френологией, электричеством, беспроводным телеграфом, химией, спиритизмом и модным тогда учением о флюидах. Сегодня он явился с огромным ящиком, который едва втащил с помощью дворника Федота, — сооружением, затянутым в чёрную материю, из-под которой торчали какие-то провода

и медные контакты.

— Дорогой мой! — воскликнул он, бросаясь к имениннику и, по обыкновению, ухватившись за пуговицу. — Поздравляю! И, как гласит древняя мудрость, не дорог подарок, дорого внимание. Но сегодня — внимание будет стоить дороже всякого подарка! Ибо я принёс тебе, Ипполит, вещь, которая перевернёт твою жизнь!

Ипполит Анемподистович осторожно высвободил пуговицу из цепких пальцев доктора и с сомнением покосился на ящик.

— Очень рад, Павел Ильич. А это... не взрывается?

— Взрывается! — радостно подтвердил Муркин. — Но только в метафорическом смысле! Метафизический взрыв, понимаешь ли. Взрыв лжи, взрыв лицемерия, взрыв всего того, что сковывает человечество цепями притворства!

Клеопатра Саввишна, услышав слова «взрыв» и «цепи», перекрестилась и демонстративно пересела подальше.

Когда гости расселись за столом и выпили по первой рюмке (херес Треухова был предусмотрительно заменён на рябиновую настойку), доктор Муркин поднялся и произнёс речь. Речь была длинной, путаной и изобиловала терминами, которых не знал даже сам доктор. Из неё следовало, что, изучая труды профессора Бехтерева и попутно экспериментирова с катушкой Румкорфа, Муркин совершил открытие, «перед которым меркнут свечи всего синклита петербургской Академии наук».

— Человеческий мозг, господа, испускает электрические волны! — вещал он, потрясая вилкой с наколотым огурцом. — Каждая мысль, каждое чувство — это ток. И я задался вопросом: почему мы лжём? Почему язык наш говорит одно, а токи мозга в этот момент — совершенно другое? Ответ прост: существует барьер! Перемычка между мыслью и речью, которая фильтрует искренность. И я, господа... я её УСТРАНИЛ!

Доктор театрально сорвал чёрную материю с ящика.

Гости ахнули. На столе, среди селёдочниц и графинов, высилось нечто, напоминающее граммофон с гипертрофированным рупором, из которого во все стороны торчали спирали проводов, стянутые синими бантами. На боку аппарата красовалась медная табличка с надписью «Радиофонографъ Муркина. Модель 1. Действует безъ отказа».

— Что это? — тихо спросила Зинаида Пална.

— Это, сударыня, спасение человечества от лжи! — гордо ответил изобретатель. — Человек садится в кресло перед рупором, я включаю ток — и всё! Никакой лжи! Никаких уверток! Душа нараспашку!

— А ежели человек не хочет нараспашку? — подозрительно осведомилась Клеопатра Саввишна.

— Аппарат устраняет «не хочу»! — отрезал Муркин. — Электричество не спрашивает. Оно проникает в мозг и освобождает подавленную истину, как паровой котёл выпускает лишний пар через клапан!

— Батюшки, — пробормотала тёща, — выпустит пар, а потом и вовсе улетит в духовные сферы. Свят, свят...

Перетыкин смотрел на аппарат со смешанным чувством. С одной стороны, Муркин был его старым приятелем и человеком, несомненно, талантливым. С другой — именно талант Муркина вызывал у него наибольшие опасения. Два года назад доктор изобрёл «электрический клистир», который при испытании едва не спалил флигель. Год назад — «магнетические стельки от ревматизма», после которых у Перетыкина неделю искрило из ботинок.

— Ты, Паша, вот что скажи, — осторожно начал он, — а безопасно ли это? Для здоровья я имею в виду?

— Абсолютно! — Муркин энергично затряс головой, от чего пенсне упало в селёдочный рассол. — Теоретически. То есть я ещё не испытывал на людях, но на котках — прекрасно! Коты после сеанса делаются до отвращения честными: перестают воровать сметану и смотрят прямо в глаза. Правда, один сбежал из дома, но это, я полагаю, от избытка совести.

— Хорош подарочек, — прокомментировала тёща в пространство. — Зятюшка, вы теперь котов честностью разгонять будете.

Именинный ужин потёк своим чередом. Говорили о политике (Лямин-муж молчал, Лямина-жена говорила за двоих, так что баланс соблюдался), о погоде (Треухов вставил замечание, что май нынче подозрительно тёплый — и тут же смутился, словно сказал непристойность), о том, что нынче

молодёжь пошла не та (тут тёща прочитала десятиминутную лекцию, из которой следовало, что молодёжь не та ещё с вавилонского пленения). Муркин, выпив три рюмки, ещё раз попытался объяснить принцип действия аппарата, но запутался в терминах и закончил фразой «одним словом — электричество!».

Когда гости начали расходиться, доктор отозвал Перетыкина в сторону.

— Слушай, Ипполит, — прошептал он, и в его глазах мелькнуло выражение, которое бывает у людей, только что застраховавших свою жизнь в пользу незнакомого человека. — Ты инструкцию прочти обязательно. Там всё написано. Особенно пункт четвёртый.

— Какой пункт?

— Четвёртый. Про то, что нельзя допускать попадания влаги в контактную группу «Б». И пункт седьмой. Про то, что не рекомендуется использовать аппарат более получаса подряд, ибо может возникнуть, м-м-м... перманентный эффект. Но это только в теории!

Муркин, пока настраивал аппарат, несколько раз вслух бормотал пункты инструкции — попугай запомнил.

С этими словами Муркин сунул имениннику сложенный четверо лист папиросной бумаги, исписанный мелким, как блошинные следы, почерком, и торопливо откланялся.

Когда гости разошлись, Ипполит Анемподистович устало опустился в любимое кресло — глубокое, потёртое, с высо-

кой спинкой, то самое, в котором он обычно дремал после ужина. Аппарат стоял прямо перед ним, поблёскивая медным рупором в свете лампы.

— Ну и подарочек, — пробормотал он, разворачивая инструкцию. — «Пункт первый: установить в сухом помещении. Пункт второй: присоединить провод к электрической сети...» Дальше разберу. Завтра.

Он зевнул, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

А в другом конце гостиной Клеопатра Саввишна, вооружившись ножницами, подозрительно рассматривала оставленную зятем на столике папиросную бумагу. Тёща была женщиной старого закала и свято верила, что любая бумага, исписанная непонятными словами, есть либо масонский заговор, либо вексель на её погибель. И то, и другое подлежало немедленному уничтожению.

— «Контактная группа Бэ...» — прочла она по слогам. — «Перманентный эффект...» Тыфу, латынь собачья!

Ножницы щёлкнули. Инструкция превратилась в горстку полосок, из которых тёща через минуту ловко скрутила папильотки для своих почтенных седин.

Аппарат доктора Муркина остался стоять в гостиной, подключённый к сети и нацеленный раструбом прямо в лицо спящему хозяину дома. На медной табличке уютно играли блики от лампы.

Где-то в клетке попугай Карл проснулся, покосился на аппарат жёлтым глазом и отчётливо произнёс:

— Провокация!

И, как выяснилось позже, был абсолютно прав.

Глава вторая. Инструкция, которой не суждено было выжить

Утро в доме Перетыкиных начиналось — как, впрочем, и во всяком порядочном петербургском семействе — с кофе, молчаливой неприязни и ощущения, что мир катится в бездну, но, по крайней мере, катится туда по расписанию.

Ипполит Анемподистович пробудился ровно в половине восьмого от деликатного, но настойчивого покашливания кухарки Глаши за дверью спальни. Это покашливание заменяло в доме будильник, календарь и барометр одновременно: по его интенсивности можно было определить, какой нынче день — будний или праздничный, степень настроения кухарки и прогноз погоды на ближайшие сутки. Сегодня кашель был сухим и отрывистым — значит, среда, на дворе слякоть, а у Глаши опять убежало молоко.

— Встаю, встаю, — пробормотал Ипполит Анемподистович, спуская ноги с кровати и машинально нащупывая тапки. — Уже бегу. Лечу, можно сказать. Парю, как орёл над горными вершинами.

Глаша за дверью фыркнула. Она позволяла себе фыркать, потому что служила в доме двенадцать лет и знала, что заменить её некем: попробуй-ка найди в Петербурге кухарку, которая согласится жить под одной крышей с Клеопатрой

Саввишной и не сбежит через неделю, осеняя себя крестным знамением.

Умывшись ледяной водой (тёща считала горячую воду «баловством, от коего происходит расслабление организма и вольнодумство»), Ипполит Анемподистович облачился в домашний сюртук и спустился в столовую. Там его уже поджидал установленный порядок вещей, а именно: дымящийся кофейник, корзинка с булочками и тёща, восседающая во главе стола с видом прокурора, готовящегося к обвинительной речи.

— С добрым утром, маменька, — сказал Ипполит Анемподистович, присаживаясь к столу и стараясь занимать как можно меньше места — привычка, выработанная годами.

— Для кого доброе, а для кого и так себе, — отозвалась Клеопатра Саввишна, многозначительно поджимая губы. — Я, зятюшка, сегодня ночью глаз не сомкнула. Всё думала.

— О чём же, позвольте полюбопытствовать?

— О том, что в этом доме завелась вещь, от которой одно расстройство нервов и, прости. Господи, запах серы.

Ипполит Анемподистович поперхнулся кофе.

— Маменька, голубушка, какая сера? Откуда?

— А вот оттуда! — тёща величественно указала пальцем в сторону гостиной. — От этого вашего граммофона бесовского. Я всю ночь ворочалась и чувствовала: пахнет! Не то электричеством, не то серой, не то гордыней человеческой, что, в сущности, одно и то же.

— Маменька, это просто аппарат. Доктора Муркина изобретение. Для научных целей.

— Знаю я эти научные цели! — Клеопатра Саввишна перекрестилась на икону в углу. — Доиграются ваши учёные, что небо на землю рухнет. Я в «Епархиальных ведомостях» читала: один профессор в Казани попытался из лягушки человека вырастить. И что вы думаете? Лягушка выросла, а человек — нет! Потому что нечего в Божий промысел с электричеством лезть!

Перетыкин благоразумно перевёл разговор на качество булочек, мысленно дав себе слово припрятать «Епархиальные ведомости» до лучших времён.

Зинаида Пална к завтраку не вышла — у неё, как сообщила тёща с плохо скрываемым злорадством, «мигрень от вчерашних волнений». Это означало, что супруга пролежит в будуаре до полудня, читая французский роман и грызя мятные леденцы, а все домашние дела лягут на плечи Ипполита Анемподистовича. Впрочем, «лягут» — сказано неточно. Домашние дела никогда не ложились на плечи Перетыкина. Они на него обрушивались. Как снежная лавина на незадачливого швейцарского пастуха.

Покончив с завтраком, Ипполит Анемподистович перешёл в гостиную, намереваясь захватить газету и на полчаса предаться тому единственному виду деятельности, который ему по-настоящему удавался — а именно, спокойному чтению в кресле.

Но кресло было занято.

В нём, развалиясь с величием свержнутого монарха, восседал попугай Карл.

— Провокация! — приветствовал он хозяина.

— Сам ты провокация, — буркнул Ипполит Анемподистович, машинально оглядываясь — не слышит ли тёща. — Брысь.

Попугай переступил с лапки на лапку, но кресла не покинул. Он вообще питал к этому предмету мебели странную привязанность. Возможно, дело было в том, что обивка кресла цветом и фактурой напоминала оперение какой-то тропической родственницы, встреченной Карлом в далёкой юности, ещё до цирка. А возможно, попугай просто понимал, что это единственное место в доме, откуда видно одновременно и буфет с сахарницей, и клетку, и часы с кукушкой — то есть полный стратегический обзор.

Так или иначе, Ипполит Анемподистович уселся на стул — жёсткий, неудобный, с прямой спинкой, специально предназначенный для гостей, которых хотели проучить. И тут его взгляд упал на аппарат.

Днём, в трезвом свете майского солнца, «Радиофонографь Муркина» выглядел ещё более нелепо, чем накануне. Медный рупор тускло поблёскивал, провода свисали причудливыми гирляндами, а синие банты — бог весть зачем повязанные — придавали машине вид провинциальной барышни, которую нарядили на бал и забыли причесать. Пере-

тыкин вспомнил инструкцию и пошарил рукой по столику, где оставил её вчера.

Инструкции не было.

— Глаша! — позвал он. — Глаша, голубушка, вы вчера в гостиной не прибирали?

Кухарка возникла в дверях — грузная, румяная, с выражением лица, означавшим «я тут работаю двенадцать лет и ещё ни разу ничего не крала, а вы меня подозреваете».

— Прибирала, барин. А как же. Всё прибрала.

— А бумагу со столика не видели? Такой листочек папиросный, исписанный?

— Это который барыня-маменька ножницами изрезали? Видела. Они из него папильотки сделали.

Ипполит Анемподистович медленно опустился обратно на стул.

— Папильотки... — повторил он с тем выражением, с каким Архимед, вероятно, произнёс бы «Эврика», если бы перед этим обнаружил, что его чертежи пущены на растопку. — Маменька сделала из инструкции... папильотки...

— Ага, — радостно подтвердила Глаша. — Говорят, бумага тонкая, мягкая. Для волос самое то. А что?

— Ничего, Глаша. Идите.

Оставшись один, Перетыкин уставился на аппарат с чувством, близким к суеверному ужасу. Инструкции больше не существовало. Та самая инструкция, которая, по словам Муркина, содержала жизненно важный пункт четыре и пу-

гающий пункт семь, теперь покоилась на голове тёщи в виде предмета дамского туалета. Ирония ситуации была столь чувовишна, что Ипполит Анемподистович даже хихикнул — тихо, нервно, оглядываясь на дверь.

— Ну-с, — сказал он сам себе, подходя к аппарату. — Посмотрим, что ты за зверь.

Спереди, на медной панели, имелись три рукоятки. Одна была подписана от руки чернилами: «Токъ». Вторая — «Модуляція». Третья — просто «Общій ходъ». Под рукоятками красовался рубильник с двумя положениями: «Выкл.» и «Вкл.». Больше никаких пояснений.

Перетыкин постоял, поразмыслил. Потом, движимый тем особым любопытством, которое заставляет человека нажимать на все кнопки в незнакомой машине, повернул рукоятку «Токъ» до половины. Внутри аппарата что-то загудело — тихо, басовито, словно проснувшийся шмель.

— Гудит, — констатировал Ипполит Анемподистович. — Уже хорошо. Или плохо. Смотря что имел в виду Муркин под «хорошо».

Он потянулся к рубильнику, но тут раздался звонок в прихожей.

— Провокация! — заорал попугай.

Звонок был властным, требовательным — так звонят люди, которые либо пришли взыскивать долг, либо сообщить о пожаре, либо (и это самое страшное) явились с утренним визитом без предупреждения.

Ипполит Анемподистович отдернул руку от рубильника, поправил галстук и поспешил в прихожую. Открыв дверь, он увидел на пороге человека, при виде которого у него сделалось такое выражение лица, какое бывает у кролика, застигнутого фарами автомобиля.

На пороге стоял его непосредственный начальник, статский советник Иван Силантьевич Козодоев.

Это был мужчина лет пятидесяти с наружностью, которая специально была создана для того, чтобы внушать подчинённым трепет и несварение желудка. Представьте себе грушу — но не обычную, а облечённую в вицмундир с блестящими пуговицами. Грушу с бакенбардами. Грушу, которая смотрит на вас маленькими, заплывшими, но при этом удивительно зоркими глазками, способными разглядеть недоданный поклон на расстоянии пятнадцати шагов.

Козодоев был грозой департамента. О нём ходили легенды: говорили, что однажды он уволил курьера за то, что тот чихнул «непочтительно», — на нижней ноте, а следовало на верхней. Говорили, что он способен найти грамматическую ошибку в чистом листе бумаги. Говорили, что, когда он входит в присутствие, чернила в чернильницах бледнеют от страха. Всё это, конечно, было преувеличением, но не слишком большим.

— А, Перетыкин, — произнёс Козодоев голосом, в котором смешались покровительственность и угроза примерно в равных пропорциях, как коньяк и валерьянка в рецепте Мур-

кина. — Принимаешь гостей?

— Иван Силантьевич! — Ипполит Анемподистович согнулся в поклоне, едва не коснувшись лбом собственных колен. — Какая честь! Какая неожиданная, несказанная, невыразимая честь! Прошу, прошу покорнейше! Вот сюда-с, в гостиную-с!

Он пятился, кланялся и делал приглашающие жесты с той степенью суетливости, которая, по его расчётам, должна была свидетельствовать о глубочайшем почтении, а на деле напоминала поведение краба, заблудившегося в бальном зале.

Козодоев проследовал в гостиную, не снимая пальто, — жест, означавший, что визит будет коротким, но от этого не менее мучительным. Он огляделся, оценил обстановку, задержал взгляд на аппарате Муркина и хмыкнул.

— Что за агрегат?

— Это-с? Друга моего изобретение. Доктора Муркина. Для, так сказать, электрических изысканий. Граммофон нового типа-с.

— Граммофон... — Козодоев потрогал рупор мизинцем — тем самым жестом, каким трогают сомнительную рыбу на рынке. — А не взрывается?

— Что вы, что вы, Иван Силантьевич! Помилуйте! Это в высшей степени безопасное, можно сказать, даже благотворное устройство! — залепетал Перетыкин, одновременно пытаясь припомнить, куда он задевал свои папиросы, не забыл ли поклониться нужное количество раз и не пахнет ли из

кухни пригоревшим.

— Ну-ну, — Козодоев наконец снял пальто, которое Ипполит Анемподистович принял с таким трепетом, словно это была по меньшей мере хоругвь. — Садись, Перетыкин. Разговор есть.

Начальник уселся. И — о ужас! — уселся он именно в то самое кресло. В то самое, против которого стоял аппарат Муркина.

Ипполит Анемподистович хотел было предложить начальнику пересесть на диван, поближе к камину, но осёкся: предлагать Козодоеву что-либо означало признать, что Козодоев сделал что-то неправильно. А Козодоев, как известно, ошибок не делал. Козодоев был непогрешим, как римский папа, только с большим окладом.

Перетыкин опустил на краешек жёсткого стула напротив начальника — точнее, напротив начальника и аппарата одновременно, так что рупор целился Козодоеву прямо в переносицу.

— Я к тебе, Перетыкин, по делу, — начал статский советник, поигрывая брелоком от часов. — Деликатное дело. Можно сказать, конфиденциальное.

— Весь внимание, Иван Силантьевич! — Ипполит Анемподистович вытянулся в струнку, имея при этом такой вид, будто его сейчас посвятят в рыцари или, на худой конец, расстреляют — и он ещё не решил, что предпочтительнее.

— Ты, я знаю, составлял в прошлом году отчёт по ак-

цизным сборам с табачных фабрик. Хороший отчёт. Цифры гладкие, выводы убедительные.

— Старался-с...

— Старался, — кивнул Козодоев. — А теперь послушай. Его превосходительство, директор департамента, в конце этого месяца представляет к ордену Святой Анны третьей степени нескольких чиновников. Моё имя, по некоторым причинам... гм... задержалось в представлении. Орден мне нужен, Перетыкин. Позарез нужен. Не по чину я без Анны, понимаешь?

— Понимаю-с...

— А для ордена, — продолжал Козодоев, — требуется нечто особенное. Докладная записка, например. О реформе табачного акциза. Умная записка, с выкладками, с прожектами. Чтобы его превосходительство увидел — и ахнул. И сказал: «Вот кто у нас служит! Вот кого награждать надо!»
Понял?

— Понял-с...

— Но сам я, — тут Козодоев слегка понизил голос и доверительно наклонился к Перетыкину, — сам я, по некоторой загруженности, написать такую записку не успеваю. А ты успеешь. Ты способный. Ты толковый. Напиши, голубчик. А я уж представлю эту записку... от своего имени, разумеется. И тебя не забуду. К Рождеству выхлопочу тебе коллежского асессора. Идёт?

Всё это было сказано таким тоном, что местоимение «я»

звучало как «Мы, Николай Второй», а «ты» — как нечто среднее между «любезный раб» и «червяк, которого пока не раздавили».

И вот тут-то всё и случилось.

Никто — ни Перетыкин, ни Козодоев, ни даже попугай Карл — не заметил, что рукоятка «Токъ» на аппарате Муркина была повернута до половины. И никто не заметил, что рубильник, тот самый злополучный рубильник с надписью «Вкл.», каким-то образом — то ли от сотрясения воздуха при входе Козодоева, то ли от сквозняка, то ли просто по закону вселенской подлости — сам собой пере щёлкнулся в верхнее положение.

Аппарат работал.

Рупор был направлен точно на статского советника. Но волны, испускаемые аппаратом (если они, конечно, существовали, а не были плодом воображения Муркина, чему сам Муркин верил лишь наполовину), накрывали всю прилегающую область. И в эту область входил стул, на котором сидел Ипполит Анемподистович Перетыкин.

И когда Козодоев закончил свою речь и выжидающе уставился на подчинённого, Ипполит Анемподистович открыл рот.

Он хотел сказать: «С превеликим удовольствием, Иван Силантьевич! Почту за честь! Всенепременнейше исполню в лучшем виде-с!».

Но вместо этого из его рта вылетело совершенно другое.

— Нет, — сказал он.

Козодоев моргнул.

— Что «нет»?

— Не напишу я вам записку, Иван Силантьевич, — продолжал Перетыкин, и каждое слово выходило из него с той же лёгкостью, с какой пробка вылетает из бутылки шампанского. — Не напишу. Потому что вы, извините за прямоту, бездарь.

В гостиной повисла такая тишина, что было слышно, как у тётки за стеной скрипнула кровать. Попугай Карл, и тот замер, наклонив голову.

— Что-о? — выдохнул Козодоев.

— Бездарь, — повторил Ипполит Анемподистович с каким-то даже облегчением. — Совершеннейшая бездарь. Вы за пятнадцать лет службы ни одной бумаги самостоятельно не составили. Вы даже резолюции на полях чужим почерком писать норовите — ей-богу, я узнаю руку вашего письмоводителя. Вам бы не орден, вам бы букварь — и то, боюсь, не осилите.

Лицо Козодоева начало медленно наливаться краской — той особенной, свекольной, которая предшествует либо апоплексическому удару, либо увольнению по статье «оскорбление начальства действием и словом».

Но Перетыкин уже не мог остановиться. Его несло.

— И ордена вы не достойны. Вы вообще, Иван Силантьевич, ничего не достойны, кроме хорошего слабительного.

Потому что желчны вы безмерно, а желчь надобно выводить, а не на подчинённых выплёскивать. Вон до чего бакенбарды отрастили, а всё туда же — в начальство!

Сказав это, Ипполит Анемподистович закрыл рот и сам ужаснулся тому, что из него вышло. Ощущение было такое, будто внутри у него поселился какой-то бес — маленький, бесстрашный, абсолютно бестактный бес, который дорвался до микрофона и теперь вещал, не считаясь с последствиями.

Козодоев поднялся. Поднялся медленно, торжественно, как поднимается со дна озера труп утопленника в третьем акте провинциальной трагедии. Глаза его метали молнии, бакенбарды топорщились, пуговицы на жилете, казалось, готовы были отстрелиться и разлететься по гостиной.

— Вы... — прохрипел он. — Вы... титулярный... Вы... как вы... Да я вас!..

Договорить он не смог. Воздух в его лёгких кончился, и он только беззвучно открывал и закрывал рот, становясь удивительно похожим на того самого карпа, которого Перетыкин некогда наблюдал в аквариуме у зубного врача.

— Иван Силантьевич, — пролепетал Перетыкин, приходя в себя. — Голубчик! Это не я! Это... это...

Он обернулся на аппарат. Рубильник, издеваясь, подмигивал латунным бочком в солнечном луче.

— Это аппарат! — вскричал Ипполит Анемподистович. — Это он! Он заставляет говорить правду! Я не хотел! Честное слово, не хотел! Я вас уважаю! Я вас обожаю! Я на вас

молюсь каждое утро и вечер!

Но Козодоев уже не слушал. Он схватил пальто, нахлобучил фуражку (задом наперёд, чего с ним не случалось, вероятно, со времён приговорительного класса гимназии) и ринулся к выходу. На пороге он обернулся и произнёс фразу, которая вошла в семейный фольклор Перетыкиных, — произнёс загробным голосом, каким, должно быть, объявляют конец света:

— Завтра... в приказе... перевод в архив... в Смоленскую губернию... личным постановлением... чтоб духу твоего...

Дверь хлопнула так, что чучело филина, стоявшее на шкафу с фарфором, покачнулось и рухнуло вниз, увлекая за собой супницу и две тарелки.

— Провокация! — заорал попугай.

Ипполит Анемподистович стоял посреди гостиной, опустошённый, словно бутылка из-под хереса Треухова. В голове его роились мысли, одна мрачнее другой: увольнение, позор, нищета, Смоленская губерния, волки, голодная смерть... И посреди этого хаоса — одна спасительная, хоть и безумная мысль: аппарат. Аппарат работает. Аппарат действительно заставляет говорить правду. Муркин, чёрт бы его побрал, не соврал!

Он повернулся к машине, готовый проклясть её, разбить, уничтожить, — и замер.

Потому что из рупора, очень тихо, почти неслышно, доносился голос. Медный, механический, но при этом отчётли-

во узнаваемый голос доктора Муркина. Очевидно, какая-то мембрана внутри аппарата записывала звук — или воспроизводила то, что доктор наговорил при настройке.

— Пункт четыре, — шептал голос. — Не оставлять включённым в присутствии начальства. Пункт семь: длительное использование вызывает перманентный эффект, выражающийся в неспособности субъекта ко лжи даже после отключения аппарата. Теоретически. Эксперименты на людях не проводились. Коты реагируют хорошо, хотя один ушёл из дома и, по слухам, записался в партию эсеров...

— Провокация, — тихо, почти обречённо, повторил попугай.

Ипполит Анемподистович опустил на стул — тот самый, жёсткий, для нежеланных гостей — и закрыл лицо руками.

Где-то наверху, в своей спальне, Клеопатра Саввишна снимала папильотки. Инструкция доктора Муркина, пункты четыре и семь включительно, падала в корзину для мусора мелкими бумажными клочками.

Глава третья. Визит Козодоева, или Гибель карьеры

Если читатель полагает, что статский советник Иван Силантьевич Козодоев, хлопнув дверью и пообещав Перетыкину Смоленскую губернию, немедленно отправился в департамент строчить приказ об увольнении, — то читатель глубоко заблуждается. Ибо читатель, по наивности своей, всё ещё представляет начальство рационально действующим существом. Меж тем как многолетние наблюдения за отечественным чиновничеством показывают: начальство — это не существо. Это стихия. И как всякая стихия, оно действует не по плану, а по вдохновению.

Козодоев не пошёл в департамент. Он пошёл домой. И по дороге, надо отдать ему должное, пытался осмыслить произошедшее.

Осмыслить, впрочем, не получалось. В голове статского советника, обычно работавшей с чёткостью часового механизма (пусть и несколько заржавевшего от долгого неупотребления), царил хаос. Отдельные слова, вылетевшие из уст Перетыкина, всплывали в памяти, словно непереваренные куски вчерашнего ужина. «Бездарь». «Слабительное». «Бакенбарды». Бакенбарды! Какое отношение его бакенбарды имеют к акцизным сборам? И что, спрашивается, этот ти-

тулярный советник, это ничтожество в вицмундире, имел в виду под словом «бездарь»? Да знает ли он, что Козодоев в тысяча восемьсот девяносто седьмом году лично составил циркуляр «О недопустимости курения в присутственных местах табаку низших сортов» — циркуляр, который сам директор департамента назвал, назвал... Впрочем, Козодоев не мог припомнить, чтобы директор вообще как-то этот циркуляр назвал. Но ведь не раскритиковал же!

Погружённый в эти думы, Иван Силантьевич не заметил, как дошёл до собственного дома на Моховой, — массивного, шестиоконного, с подъездом, украшенным львиными мордами. Львы, надо заметить, были единственными существами, которые смотрели на Козодоева без страха. Возможно, потому, что были каменными.

Поднявшись в квартиру, статский советник первым делом потребовал у жены валериановых капель. Супруга его, Пелагея Тихоновна, дама с лицом, напоминавшим слегка обвисший бисквит (и характером примерно той же консистенции), всплеснула руками и забегала по комнате, роняя флаконы.

— Ваня, голубчик, что стряслось? На тебе лица нет!

— Лица нет? — Козодоев схватился за зеркало. — А что есть?

— Есть выражение... какое-то дикое выражение. Будто ты привидение увидел.

— Хуже, — мрачно ответил статский советник. — Я увидел правду.

Пелагея Тихоновна ничего не поняла, но на всякий случай перекрестилась. Она была женщиной простой и верила, что от правды, как от сглаза, помогает святая вода и своевременное зажжение лампадки.

Между тем Козодоев, осушив пузырёк с валериановыми каплями (отчего в квартире запахло так, словно здесь квартировал целый полк нервных старух), погрузился в размышления. Уволить Перетыкина? Безусловно. Перевести в архив? Само собой. В Смоленскую губернию? Маловато. В Вологодскую! В Архангельскую! В такие дебри, где не то, что акцизов — людей-то нет, одни медведи, и те, наверное, врут меньше, чем этот титулярный наглец!

Но постойте. А что, если Перетыкин, осмелев после своего непостижимого демарша, расскажет кому-нибудь о том, что он, Козодоев, ему предлагал? Ведь предлагал же — ни больше ни меньше, как написать докладную записку для чужого ордена. А это, как ни крути, подлог. Или не подлог?.. Поди разбери в этих новых законах! В старые времена — при Павле Петровиче или даже при Александре Втором — таких Перетыкиных просто пороли бы на конюшне, и дело с концом. А нынче что? Нынче у каждого титулярного советника — амбиции, нервы, чувство собственного достоинства! Тьфу!

К вечеру следующего дня Козодоев принял соломоново решение: пока не увольнять. Но вызвать. Вызвать, посадить перед собой и допросить с пристрастием. Выяснить, что это

была за выходка. И если обнаружится хотя бы тень намеренного оскорбления — тогда-то уж, тогда-то он покажет этому Перетыкину, почём фунт лиха!

Так и не подозревая, что фунт лиха в ближайшее время предстоит отведать ему самому, Иван Силантьевич отправил нарочного с предписанием: титулярному советнику Перетыкину явиться в присутствие завтра, в понедельник, ровно в девять утра, «для объяснений по вопросу, не терпящему отлагательств».

А в доме Перетыкиных тем временем тоже царила суета — но совершенно иного свойства.

Ипполит Анемподистович, проводив Козодоева и просидев в оцепенении около получаса, внезапно вскочил и принялся действовать. Действия его, правда, напоминали поведение курицы, у которой только что отрубили голову, но которая ещё не вполне осознала этот прискорбный факт. Он то хватался за аппарат, намереваясь его разбить, то отдёргивал руки, боясь, что машина выкинет ещё какой-нибудь фортель; то бежал к двери, словно собираясь догнать Козодоева и на коленях вымолить прощение; то замирал посреди гостиной и начинал беззвучно шевелить губами, репетируя, очевидно, оправдательную речь.

— Провокация, — прокомментировал попугай.

— Замолчи, Христа ради! — взмолился Ипполит Анемподистович. — Хоть ты-то не добивай!

Попугай Карл, который, как мы помним, провёл юность в

цирке и обладал своеобразным чувством юмора, не то, чтобы замолчал, но переключился на другой репертуар — а именно, на мотив из «Корневильских колоколов», который он насвистывал с таким ехидством, что даже тёща, выглянувшая из своей комнаты, на мгновение забыла о святых отцах и перекрестилась на птицу.

— Зятюшка, — сказала она, спускаясь в гостиную, — что это вы тут устроили? Отчего филин повержен, а супница — в черепках?

— Это не я, маменька... Это всё он! — Перетькин указал на аппарат.

— Кто — он? Филин? Супница?

— Аппарат! Машина проклятая! Он, изволите ли видеть, заставляет людей говорить правду! Не какую-нибудь там удобную, приглаженную правду, а самую что ни на есть голую, неприглядную, разрушительную!

Клеопатра Саввишна поджала губы. В её глазах мелькнуло выражение, которое бывает у кошки, заметившей, что мышь не просто бежит, но ещё и дерзит.

— Правду, говорите? — переспросила она. — А вы, зятюшка, разве имеете обыкновение лгать?

— Я?.. — Ипполит Анемподистович осёкся. — Маменька, я... гм... как всякий человек...

— Вот то-то и оно, что как всякий, — отрезала тёща. — А человек, который не лжёт, — это не человек, а ангел. Или юродивый. Вы же, зятюшка, ни на того, ни на другого не тя-

нете. Стало быть — неча на аппарат пенять, коли душа кривая!

Сказав это, Клеопатра Саввишна удалилась на кухню — проверять, не стащила ли Глаша остатки именинного пирога. А Ипполит Анемподистович остался в гостиной, переваривая тётчин афоризм. «Душа кривая»... Вот ведь как повернула! И главное — не поспоришь! Потому что, если поспоришь — придётся доказывать, что душа прямая. А как докажешь? Предъявишь? Положишь на стол и скажешь: «Извольте видеть, маменька, прямее не бывает»? Нет, с тётцей спорить — всё равно что с самоваром дискутировать: он тебе в ответ только пыхтит и кипятком плюётся.

В дверь позвонили.

— Провокация! — заорал попугай, но тут же осёкся, ибо на пороге возник не кто иной, как доктор Павел Ильич Муркин собственной персоной.

Вид у доктора был дикий. Пенсне сидело криво (левое стекло смотрело на собеседника, правое — куда-то в область потолка); волосы торчали во все стороны, словно их владелец только что ставил опасный электрический опыт и по рассеянности включил в цепь собственную голову; а на лацкане сюртука красовалось подозрительное пятно, которое могло быть и химическим реактивом, и яичницей, и тем и другим одновременно.

— Ипполит! Друг мой! — воскликнул он, бросаясь в гостиную и, по обыкновению, ухватывая хозяина за пуговицу.

— Я шёл мимо и решил — дай, думаю, загляну, узнаю, каково действие аппарата! Ну, как? Работает? Гудит? Фонит? Есть эффект?

— Есть, — мрачно ответил Перетыкин, высвобождая пуговицу. — Ещё какой эффект. Меня, Паша, увольняют. В Смоленскую губернию. А может, ещё дальше. И всё из-за твоего агрегата.

Муркин просиял.

— Увольняют?! Превосходно! То есть... я хотел сказать, это, конечно, прискорбно в смысле жалованья, но в научном плане — великолепно! Значит, аппарат функционирует! Значит, электрические волны действительно преодолевают барьер лжи! Я так и знал! Я всегда говорил, что человечество можно исцелить от лицемерия!

— Исцелил, — буркнул Ипполит Анемподистович. — Теперь мне, исцелённому, осталось только умереть с голоду. И знаешь, что, Паша? Забери-ка ты свой «Радиофонограф» обратно. Подари кому-нибудь другому. Ну, например, министру финансов. Или обер-прокурору Святейшего синода. Пусть и они исцелятся!

— Не могу! — Муркин всплеснул руками. — Во-первых, подарок. А подарки, как известно, забирать — дурная примета. Во-вторых, у меня уже готов «Радиофонограф, модель вторая», компактный, на батарейках. А это — первая модель, опытный образец. Оставь себе. Изучай. Может, ещё и благодарить будешь!

Ипполит Анемподистович хотел ответить, что он скорее согласится изучать гремучую змею в собственной постели, но тут в гостиную вошла Зинаида Пална.

За те часы, что миновали с момента утреннего визита Козодоева, супруга Перетыкина успела восстать с одра мигрени, переменить три капота, получить записку от своей кузины Лидочки (из содержания коей следовало, что Лидочка видела Козодоева, выходящего из дома Перетыкиных «в совершенном расстройстве чувств и с фуражкой задом наперёд»), — и теперь пребывала в состоянии одновременного любопытства и раздражения.

— Ипполит! — сказала она голосом, каким, вероятно, жена Лота могла бы обратиться к супругу непосредственно перед вышеупомянутым соляным инцидентом. — Что тут происходит? Отчего Козодоев выбежал из нашего дома как ошпаренный? И почему горничная Фрося говорит, что вы кричали на его превосходительство «бездарь»?

— Не «бездарь», а «бездарь», — машинально поправил Перетыкин. — Ударение на последний слог. Это существительное. А «бездарь» с ударением на первый — это глагол повелительного наклонения, означающий...

— Ипполит Анемподистович! — перебила Зинаида Пална с интонациями, не предвещавшими ничего хорошего. — Извольте объясниться!

Ипполит Анемподистович вздохнул. Он оглядел собравшихся: жену — с горящими глазами; доктора Муркина — с

выражением восторженного идиотизма на лице; попугая — который явно наслаждался ситуацией; и даже чучело филина, валявшееся на полу, казалось, глядело на него с укоризной.

И тогда он рассказал.

Рассказал всё: и как Козодоев сел в кресло, и как аппарат загудел, и как слова вылетели из него сами собой, помимо воли, словно их вытолкнула какая-то посторонняя сила. И про «бездарь», и про «слабительное», и про бакенбарды, и про обещанный перевод в архив.

Зинаида Пална выслушала, не перебивая. Когда муж закончил, она несколько секунд молчала, а потом произнесла фразу, которая вошла в историю их семьи наравне с козодоевским «В Смоленскую губернию»:

— Вы хотите сказать, что из-за этой железной дряни, — она величественно указала на аппарат, — мы останемся без средств к существованию?

— Зинаида, душенька, я...

— Я не душенька! Я женщина, которая выходила замуж за перспективного чиновника, а не за сумасшедшего, который оскорбляет начальство!

— Но, Зинаида, пойми...

— Я понимаю только то, что моя кузина Лидочка уже сегодня будет знать, что моего мужа выгоняют со службы! И завтра об этом будет знать весь Петербург! Вся Моховая! Вся Морская! Весь, прости. Господи, Гостиный двор!

— Ну, положим, Гостиный двор — это уже некоторое преувеличение, — вставил Муркин, но осёкся под взглядом Зинаиды Палны, от которого, казалось, могли бы замёрзнуть чернила в чернильнице.

— А вы! — Зинаида направила означенный взгляд на доктора. — Вы виновник всего этого безобразия! Изобретатель! Экспериментатор! Принесли в дом адскую машину и радуетесь!

— Адская машина — это бомба, сударыня, — поправил Муркин. — А это — научный прибор.

— Тем хуже! Бомба — она по крайней мере взрывается сразу, и мучениям конец! А ваш научный прибор будет мучить нас долго и методично!

И тут, словно специально дожидаясь этой реплики, аппарат Муркина снова загудел. На этот раз — громче, басовитее, с каким-то даже потусторонним присвистом. Рубильник «Вкл.» по-прежнему находился в верхнем положении. Рукоятка «Токъ» — на половине. А лампочка на медной панели, которую никто прежде не замечал, вдруг зажглась — тусклым, зеленоватым, каким-то болотным светом.

— О! — оживился Муркин. — Лампа зажглась! Это индикатор! Значит, поле работает в полную силу!

— Какое поле? — в один голос спросили Перетыкин и его супруга.

— Электрическое! То есть, простите, психо-электрическое! То есть... как бы это объяснить... — Муркин замялся.

— В инструкции всё написано!

— Инструкция, — ледяным голосом произнёс Ипполит Анемподистович, — уничтожена. Маменька изволила её изрезать на папильотки.

Муркин побледнел. Собственно, побледнел он не столько от ужаса, сколько от профессионального интереса — но со стороны это выглядело именно как бледность.

— Как — уничтожена? — прошептал он. — Стало быть, ты не читал пункт четыре?

— Не читал.

— И пункт семь?

— И пункт седьмой.

— И пункт девятый? Насчёт исключения?

— Паша, — медленно, с расстановкой сказал Перетыкин, — я не читал ни одного пункта. Я вообще не знаю, как эта штука выключается.

В гостиной повисла тишина, нарушаемая только мерным гудением аппарата и тихим насвистыванием попугая, который, казалось, переключился с «Корневильских колоколов» на что-то из репертуара Мефистофеля.

— Так, — сказал Муркин деловым тоном. — Спокойствие. Только спокойствие. Я сейчас всё улажу.

Он подошёл к аппарату, наклонился над ним, поправил пенсне и принялся изучать медную панель с ручьятками. Его пальцы зависли над рубильником.

— Выключаем... — пробормотал он. — Нет, постой-

те-ка... Может, сначала «Модуляцию»? Или «Ток» до нуля?... Гм...

— Ты что, Паша, — не выдержал Ипполит Анемподистович, — не знаешь, как выключить свою собственную машину?

— Я её собирал в состоянии творческого подъёма! — вскинулся Муркин. — А творческий подъём, друг мой, не терпит технической документации! Я всё записывал — но потом! На салфетке! Которая потерялась!

Зинаида Пална издала звук, похожий на сдавленный стон, и опустилась на диван. Перетыкин схватился за голову. Попугай Карл перестал насвистывать и проорал своё неизменное «Провокация!» — после чего добавил от себя, очевидно, из циркового прошлого: «Всех уволю! Без выходного пособия!».

— Аппарат, судя по всему, вошёл в резонанс с помещением, — забормотал Муркин, продолжая ощупывать панель. — Если я сейчас дёрну рубильник, может произойти скачок напряжения. А скачок напряжения, теоретически, может привести к... гм... расширению поля. И тогда...

— И тогда — что? — тихо спросил Перетыкин.

— Тогда, боюсь, зона искренности накроем не только гостиную, но и, скажем, кухню. Или даже весь дом.

В этот момент из кухни донёсся грохот. Судя по звуку, что-то металлическое (вероятно, сковорода) упало на что-то стеклянное (вероятно, банка с вареньем). Затем послышался

голос кухарки Глаши:

— Чтоб тебя! Руки-крюки! Всё из-за вас, баре окаянные, со своими машинками проклятыми! Двенадцать лет горбачусь, и хоть бы одна живая душа спасибо сказала! А варенье-то какое было — вишнёвое, прошлогоднее, на патоке!..

Голос Глаши звучал необычно громко, отчётливо, словно она стояла не на кухне, а прямо посреди гостиной. И интонации были не те, что обычно. Обычно Глаша ворчала себе под нос, тихо и неразборчиво. Теперь же она вещала — звучно, сочно, с каким-то даже ораторским пафосом:

— ...А барыня-то наша, Зинаида Пална, фортепианы свои терзает, думает — музыкантша! Как же! Слуха у нея, как у того валенка, что в прихожей стоит! Муж-покойник мой, царствие ему небесное, тот хоть на гармошке играл — и то люди плясали, а от еённой музыки только мыши в подполе плачут!..

Зинаида Пална взвилась с дивана. Лицо её пошло пятнами, а причёска, и без того напоминавшая архитектурное излишество, теперь, казалось, увеличилась вдвое — за счёт возмущения.

— Она... она... кухарка!.. — задохнулась Зинаида. — Она смеет!..

— Зинаида, душа моя, — попытался урезонить её Перетыкин, — это не она! Это поле! Понимаешь, психо-электрическое поле! Она не виновата!

— Ах, не виновата?! — взревела Глаша из кухни, ибо по-

ле, как выяснилось, работало в обе стороны. — Я, может, и не виновата! А вы, барин, виноваты! Думаете, я не знаю, что вы про меня думаете? «Глашка-дура, Глашка-растяпа, пересолила — недосолила»! А я, может, из принципа пересаливаю! Потому как когда человек зол, у него аппетит хуже, и продукты экономятся! Вот!

Доктор Муркин слушал всё это с выражением человека, на глазах которого подтверждается самая смелая научная гипотеза.

— Поразительно! — шептал он. — Эффект распространяется! Фильтр социальной лжи снят не только в радиусе гостиной, но и в смежных помещениях! Это более чем я рассчитывал! Это успех!

— Это катастрофа! — вскричал Перетыкин. — Выключи! Выключи немедленно!

— Я не знаю как! — в отчаянии ответил Муркин. — Честное слово, не знаю! Я забыл!

— Ах, ты забыл?!

— Да! Забыл! Такое со мной впервые! То есть не впервые, если честно. Я вообще много чего забываю. В прошлом году забыл выключить электрическую грелку — сгорел флигель. Позапрошлым летом забыл закрыть клапан у парового стерилизатора — ошпарило околоточного. Но сейчас, Ипполит, честное слово: я совершенно не помню, как отключать эту конкретную модель!

И вот тут-то и произошло самое страшное.

Ибо пока Муркин и Перетыкин препирались у аппарата, пока Зинаида Пална металась между гостиной и кухней, а Глаша продолжала изливать двенадцатилетние кухонные обиды, — никто не заметил, что Клеопатра Саввишна, покинув кухню ещё до начала Глашиного монолога, тихо проследовала в гостиную и уселась в кресло. В то самое кресло. Против рупора.

Она хотела всего лишь почитать «Епархиальные ведомости». Но поле уже работало.

— А знаете, зятюшка, — вдруг произнесла она, и голос её звучал как-то особенно, проникновенно, словно у актрисы на драматической сцене, — я вас всегда терпеть не могла.

Ипполит Анемподистович медленно обернулся.

— Маменька?..

— Терпеть, — повторила Клеопатра Саввишна, и видно было, что она сама поражена тем, что говорит, но остановиться уже не может. — С первого дня. С той самой минуты, как вы переступили порог моего дома и попросили руки моей Зиночки. Я тогда ещё поняла: не пара вы ей. Не пара! Она девушка с образованием, с консерваторией, с видами! А вы — кто? Акцизный чиновник! С жалованьем в восемьдесят пять рублей! С брюшком! С лысиной! С вечным вашим «чего изволите-с»!

— Маменька, — пролепетал Перетыкин, чувствуя, что мир уходит у него из-под ног уже не в Смоленскую губернию, а куда-то гораздо дальше — в такие области, где нет не

только железных дорог, но и вообще никакой цивилизации. — Маменька, побойтесь Бога!

— А я и боялась! — продолжала Клеопатра Саввишна всё тем же новым, пронзительным голосом. — Боялась — и потому терпела! Молилась за вас! Посты соблюдала! Думала — смягчится сердце моё! Ан нет! Не смягчилось! Вы по-прежнему мне несносны! Ваша походка, ваша манера есть, ваша привычка напевать в ванной «Вдоль по Питерской» — всё, всё, всё!

Зинаида Пална, забыв о Глаше, застыла в дверях. Муркин, забыв о науке, застыл у аппарата. Попугай Карл, казалось, тоже застыл — хотя, скорее всего, он просто ждал подходящего момента для очередной «провокации».

А Клеопатра Саввишна всё говорила. И чем больше она говорила, тем светлее становилось её лицо — словно многолетняя желчь, копившаяся в её душе, наконец-то находила выход.

— ...И генерал Корюшкин, которого я вам всё время в пример ставлю, — вовсе не генерал! Я знаю, что не генерал! Я в прошлом году в Полтаве наводила справки — никакой он не Корюшкин, а Корюшко! И не генерал, а фельдфебель в отставке! Но я всё равно вам его в пример ставила, потому что знала: вы этого не вынесете! Вы слабый человек, Ипполит Анемподистович! Вы слабый, ничтожный, маленький человек, и я...

Она вдруг замолчала. Прижала ладонь ко рту. В глазах её

отразился ужас — такой, какой, вероятно, отражался в глазах жены Лота, когда она, вопреки запрету, обернулась на гибнущий Содом.

— Что это? — прошептала она. — Что я говорю? Зачем? Я же не хотела! Я же...

— Поле, маменька, — тихо ответил Перетькин, чувствуя себя человеком, которого только что переехала карета, а теперь сдаёт назад, чтобы переехать ещё раз. — Электрическое поле. Оно заставляет говорить правду.

— Но я не хочу правду! — взвизгнула Клеопатра Саввишна. — Я не желаю! Я хочу обратно! Верните всё, как было! Пусть я вас терпеть не буду, но молча! Пусть молча!

— Увы-с, — развёл руками Муркин. — Электричество не спрашивает.

И тут из кухни снова донёсся голос Глаши:

— А ещё я в прошлый четверг сливки выпила! Те, что для барыниного кофе были! И не жалею! Потому что барыня сливки всё равно не заслужила — она и так гладкая, как масленичный блин!

— Всё, — сказала Зинаида Пална замогильным голосом. — С меня довольно.

Она повернулась и вышла из гостиной, не забыв, впрочем, хлопнуть дверью — что было совершенно излишне, ибо дверь, в отличие от Козодоева, ни в чём перед ней не провинилась.

Ипполит Анемподистович опустил на жёсткий гостевой

стул. Муркин нервно тёр пенсне. Тёща беззвучно шевелила губами — не то молилась, не то репетировала речь для следующего сеанса искренности.

А аппарат гудел. Зелёная лампочка мерцала в полутьме. И где-то в глубине медного рупора, если очень внимательно прислушаться, можно было различить слабый, но отчётливый металлический смешок.

Впрочем, это могло быть просто расстроенное воображение. А могло и не быть.

Глава четвёртая. Зинаида играет гаммы откровений

Если читатель когда-либо имел несчастье присутствовать при исполнении фортепьянной пьесы «Молитва девы», то он, без сомнения, согласится со мной, что музыка эта обладает одним замечательным свойством: она способна вызвать у слушателя столь сильное религиозное чувство, что он начинает молиться. Не обязательно о чём-то конкретном — просто молиться. О ниспослании терпения. О скорейшем окончании пьесы. О внезапном землетрясении, пожаре или ином стихийном бедствии, которое прервало бы музицирование, не доводя дела до смертоубийства.

Зинаида Пална Перетыкина исполняла «Молитву девы» так, как, вероятно, сама дева молилась бы, если бы её внезапно ужалила оса. В верхнем регистре. Во время венчания.

Надо отдать ей должное: она старалась. Её пальцы, униженные кольцами (подаренными мужем в те далёкие времена, когда он ещё не знал, что всякое проявление супружеской щедрости будет впоследствии использовано против него в качестве вещественного доказательства его «скупости»), — её пальцы бегали по клавишам, как перепуганные тараканы. В пассажах слышалась неподдельная мука, в аккордах — с трудом сдерживаемое отчаяние.

Ипполит Анемподистович, который вот уже пятнадцать лет слушал эту пьесу в дни семейных праздников, приёма гостей и собственных именин, давно выработал особый защитный механизм: он научился думать о постороннем. Обычно он прикидывал в уме акцизные ставки на табак третьего сорта, и это помогало скоротать время. Но сегодня — сегодня, читатель, что-то пошло не так.

День начался со зловещих предзнаменований. Во-первых, Глаша подала к завтраку яйца, сваренные вкрутую до состояния, которое геологи назвали бы «ранний палеолит». Во-вторых, тёща, спустившись в столовую, не произнесла ни слова — только поджала губы и устремила на зятя взгляд, который мог бы прожечь дыру в негоряемом шкафу. Очевидно, вчерашний инцидент с вынужденной исповедью ещё не был забыт. В-третьих, попугай Карл, вместо обычного «Провокация!», вдруг затынул «Со святыми упокой» — и, что самое жуткое, вполне музыкально.

Но главное — аппарат. Проклятый «Радиофонографъ Муркина» по-прежнему стоял в гостиной, зелёная лампочка мерцала, и в воздухе вокруг него ощущалось какое-то странное гудение — не то, чтобы громкое, но проникающее, казалось, прямо в кости, в зубы, в тот самый участок мозга, который у порядочного человека отвечает за вежливую ложь и своевременное умалчивание.

Муркин, переночевавший в доме Перетыкиных (ибо после вчерашних событий Ипполит Анемподистович реши-

тельно отказался отпускать изобретателя, пока тот не найдёт способ выключить свою адскую машину), — Муркин с самого утра возился с аппаратом. Он выстукивал что-то на медной панели, подкручивал рукоятки, прикладывал ухо к рупору и время от времени издавал восклицания в диапазоне от «Ага!» до «О, чёрт!». Последнее, впрочем, случалось чаще, и с каждой минутой — всё громче.

— Ну что? — спросил Перетыкин, заглядывая в гостиную. — Есть надежда?

— Надежда, друг мой, — наставительно ответил Муркин, не оборачиваясь, — есть понятие теологическое. В науке же мы имеем дело с фактами. А факты таковы: аппарат вошёл в резонанс, поле расширяется, и выключить его штатным способом я не могу.

— А нештатным?

— Нештатным — могу. Например, ударить кувалдой. Но есть нюанс: при резком разрушении контактной группы «Б» может произойти выброс накопленной энергии. Что, теоретически, превратит всех присутствующих в людей, которые уже никогда не смогут соврать. Вообще. Даже в мелочах. Даже в ответ на вопрос «как ваше здоровье?».

— Боже упаси, — прошептал Перетыкин, представив себе это.

— Вот и я говорю — боже упаси, — согласился Муркин. — Поэтому пока не будем трогать. Возможно, поле само рассеется. Или мы привыкнем. Ко всему человек привыкает, да-

же к правде. В конце концов, наши предки как-то жили до изобретения вежливости?

Ипполит Анемподистович хотел было заметить, что наши предки жили в пещерах и ели сырое мясо, и что прогресс, собственно, в том и состоит, чтобы от этого отойти, — но не успел. Потому что в этот момент в гостиную вошла Зинаида Пална.

Нет, не так. В гостиную вплыла Зинаида Пална. Именно вплыла — иного слова не подберёшь. Она двигалась так, как движутся только женщины, которые только что получили записку от кухни с душераздирающими новостями и уже приняли стратегическое решение не плакать, а мстить. На ней было платье цвета морской волны (той самой, которая бывает перед штормом, когда капитан велит задрать люки), а в руке она держала веер — оружие, которым петербургские дамы владеют не хуже, чем их мужья — кортиками.

— Ипполит, — произнесла она тоном, не предвещавшим ничего хорошего (впрочем, другие тона в её арсенале в последние дни отсутствовали), — я желаю музицировать.

— Душа моя, — осторожно начал Перетыкин, — быть может, не сейчас? Доктор Муркин как раз проводит важные научные...

— Я. Желаю. Музицировать. — Каждое слово падало отдельно, как гири на весы правосудия. — Музыка успокаивает нервы. А мои нервы, Ипполит, нуждаются в успокоении. После того, что я узнала за последние сутки. После того, как

кухарка назвала меня «масленичным блином». После того, как моя собственная мать призналась, что никогда не любила моего мужа. После того, как мой муж оскорбил своего начальника и, вероятно, лишился службы. После всего этого я намерена играть. И вы, — она обвела взглядом обоих мужчин, — вы будете слушать.

Муркин и Перетыкин переглянулись с видом людей, которым предлагают на выбор расстрел или виселицу — и оба варианта одинаково плохи.

Зинаида Пална уселась за фортепьяно. Поправила ноты (это был чистый ритуал — она знала «Молитву девы» наизусть уже много лет, и ноты служили скорее для антуража, как рамка для портрета). Подняла крышку. Попробовала педаль. И заиграла.

Первые такты прозвучали ещё терпимо. Затем, как это обычно и бывало, Зинаида Пална стала увлекаться. Темп ускорился. Динамика сделалась непредсказуемой — от *pianissimo*, при котором звук напоминал комариный писк, до *fortissimo*, способного заглушить артиллерийскую канонаду. В верхнем регистре клавиши взвизгивали, в нижнем — ухали, как филин, тот самый, что накануне рухнул с серванта.

Перетыкин попытался привычно уйти в мысленное исчисление акцизных ставок, но что-то мешало. Какая-то странная сила, исходившая, по-видимому, от аппарата Муркина, не давала отвлечься. Звуки фортепьяно проникали в сознание с какой-то особенной, невыносимой отчётливостью.

Каждая фальшивая нота, каждая смазанная рулада, каждый ритмический сбой — всё это отзывалось в мозгу Ипполита Анемподистовича такой физической болью, словно ему сверлили зуб без наркоза.

И тут — тут-то всё и началось.

— Зинаида, — сказал Перетыкин, и голос его звучал как-то странно, словно принадлежал не ему, а кому-то более смелому и, безусловно, более глупому, — Зинаида, ты сегодня фальшивишь.

Пальцы Зинаиды Палны замерли над клавишами. В гостиной повисла такая тишина, что было слышно, как у Муркина скрипнуло пенсне (очень некстати — он как раз пытался прикусить дужку в приступе нервного напряжения).

— Что? — переспросила Зинаида голосом, который по температуре мог соперничать с невским льдом в январе.

— Фальшивишь, душа моя, — продолжал Перетыкин с ужасом человека, который понимает, что несётся в пропасть, но поводья вырваны из рук, лошади понесли, а тормоза, если они и были, остались где-то на предыдущей станции. — И не только сегодня. Ты, строго говоря, всегда фальшивишь. Последние пятнадцать лет. С того самого дня, как мы обвенчались. Я, знаешь ли, сразу заметил, ещё на свадьбе, когда ты играла вальс Шопена, — и тогда ещё подумал: «Господи, и это на всю жизнь?» Но смолчал, потому что джентльмен. Потому что муж. Потому что...

Он хотел сказать «потому что боялся», но слово «боялся»

относилось к разряду тех, которые даже под действием электрического поля застревают в горле. Однако Зинаида и так всё поняла.

Она поднялась. Медленно. Величественно. Так поднимается со своего ложа разбуженная вулканическая гора, ещё не решившая — извергаться сейчас или подождать подходящего момента.

— Пятнадцать лет, — произнесла она. — Пятнадцать лет ты слушал мою игру — и молчал?

— Ну... не то, чтобы молчал... Иногда я говорил «прелестно, душенька» или «браво»...

— Ты говорил «прелестно»! — В голосе Зинаиды зазвенел металл. — Ты говорил «браво»! Ты, который сейчас утверждает, что я всегда фальшивила!

— А что мне оставалось? — вдруг вскинулся Перетыкин, чувствуя, что электрическое поле Муркина, кажется, добралось и до чувства самосохранения, парализовав его напрочь. — Сказать правду? «Дорогая, ты играешь, как сапожник, изволь прекратить»? Да ты бы меня живьём съела! И тёща бы съела! И кузина Лидочка приехала бы специально из Пскова, чтобы доесть остатки!

Зинаида Пална открыла рот, чтобы ответить — и в этот момент поле накрыло и её.

Выражение её лица изменилось. Металлический блеск в глазах сменился каким-то новым, незнакомым — не то растерянностью, не то облегчением, не то тем особенным чув-

ством, которое испытывает человек, тащивший на плечах многопудовый мешок и вдруг его уронивший.

— А знаешь, — сказала она, и голос её прозвучал неожиданно тихо, почти интимно, — ты прав. Я действительно фальшивлю. И всегда фальшивила. Я ненавижу «Молитву девы»! Я ненавижу это фортепьяно! Я ненавижу музыку!

Муркин, который всё это время сидел, вжавшись в кресло, и мечтал только об одном — чтобы его забыли, как забывают старый зонтик в прихожей, — вдруг подал голос:

— Но позвольте, сударыня! Вы же учились в консерватории! Вас, простите, хвалил сам Рубинштейн!

— Не хвалил! — выкрикнула Зинаида, и в этом крике было больше музыки, чем во всех её пассажах, вместе взятых. — Никогда он меня не хвалил! Я всё придумала! Всю эту историю с Рубинштейном — от начала до конца! Он действительно спросил у меня в коридоре, который час, — и всё! Но когда я вернулась домой и рассказала маменьке, она так обрадовалась, так засияла — впервые в жизни я видела, что маменька мной гордится. И тогда я решила: пусть! Пусть будет Рубинштейн! Пусть буду я подающая надежды, отмеченная, талантливая! Я стала играть — сначала чтобы оправдать эту выдумку, потом — чтобы не разочаровывать маменьку, а потом... а потом уже просто не могла остановиться!

В гостиной повисла тишина, нарушаемая лишь мерным гудением аппарата и тихим «Провокация!», донёсшимся из клетки (попугай, видимо, решил, что ситуация требует его

комментария, и на сей раз, надо признать, попал в точку).

Ипполит Анемподистович смотрел на жену с изумлением. Пятнадцать лет он считал её холодной, надменной, уверенной в своём превосходстве женщиной. И вот теперь перед ним сидела — нет, не женщина, а девочка. Та самая Зиночка, которая когда-то, двадцать лет назад, неуклюже поправляла причёску перед тем, как войти в консерваторский класс. Которая боялась разочаровать строгую маменьку. Которая выдумала себе талант, а потом героически, безнадёжно, отчаянно пыталась ему соответствовать.

— Зинаида... — начал он, не зная, что сказать дальше. Слова — те самые, правильные, утешительные, которые в нормальном состоянии обязательно нашлись бы, — слова не шли. Поле требовало правды, а какая тут правда? Что он, Ипполит, и сам всё это время был не лучше? Что врал — про «прелестно», про «браво», про «ты замечательно играешь»? Что трусил, что ленился, что предпочитал удобную ложь трудной правде?

— Я тоже врал, — сказал он наконец. — Всю жизнь врал. На службе — врал. Дома — врал. Тёще — врал. Тебе — врал. Себе — врал. Я, Зинаида, не тот человек, за которого ты выходила замуж. Я даже не знаю, кто я такой без всей этой лжи. Может, и не человек вовсе. Может, просто пустое место в вицмундире.

Муркин, который в этот момент пытался незаметно выбраться из кресла и покинуть гостиную (ибо научный инте-

рес научным интересом, а семейные сцены — это уже область, в которой ни один нормальный исследователь не станет экспериментировать без громоотвода и резиновых перчаток), — Муркин замер на полпути. Новый поворот событий заинтересовал его даже больше, чем устройство собственного аппарата.

— Поразительно! — прошептал он. — Поле не только снимает барьер лжи, но и провоцирует катарсис! Очищение через правду! Это не просто радиофонограф — это психотерапевтический инструмент! Я должен записать...

Он полез в карман за блокнотом, но блокнота, разумеется, не обнаружил. Блокноты у доктора Муркина имели обыкновение исчезать в самые ответственные моменты — вместе с карандашами, носовыми платками и прочими предметами, необходимыми цивилизованному человеку.

Между тем Зинаида Пална, излив первую, самую горькую правду, продолжала — уже тише, спокойнее, словно исповедуясь:

— Я ведь, Ипполит, не только про музыку врал. Я и про замужество. Когда мы венчались, я думала — ну и пусть, ну и акцизный, ну и не блестящий, зато основательный. Зато любит. Зато на руках будет носить. А потом — потом оказалось, что ты не носишь на руках. Что ты боишься маменьки. Что ты и меня-то, кажется, боишься. Что вся твоя основательность — это просто страх. Страх перед начальством, страх перед семейством, страх перед жизнью. И тогда я ре-

шила: раз ты такой, я буду другой. Буду холодной, недоступной, буду ставить себя выше. Чтобы хоть кто-то в этом доме не боялся.

— И что же? — тихо спросил Перетыкин. — Получилось?

— Нет, — ответила Зинаида, и в этом «нет» прозвучала такая горестная, такая обнажённая искренность, что даже попугай притих. — Не получилось. Я тоже боюсь. Постоянно. Всегда. Боюсь, что узнают, что я плохая музыкантша. Боюсь, что узнают, что я плохая жена. Боюсь, что маменька поймёт, как я её обманула. Вся моя жизнь — это сплошной страх и сплошное притворство. Вот тебе и правда. Доволен?

Ипполит Анемподистович поднялся со своего стула (того самого, жёсткого, для нежеланных гостей). Подошёл к жене. Остановился в нерешительности — точно солдат, который храбро бежал в атаку, но вдруг обнаружил, что враг сложил оружие, и теперь не знал, куда штык девать.

— Зинаида, — сказал он, — я... я не знаю, что сказать. Поле требует правды, а правда сейчас такая: я тоже тебя боюсь. Но ещё я тебя... ну, словом... в общем...

— Провокация! — радостно подсказал попугай.

— Вот именно! — с облегчением ухватился Перетыкин за реплику. — То есть нет, не провокация. А... гм... чувство. Которое я не могу выразить словами, потому что аппарат требует точности, а точных слов у меня нет.

— А ты попробуй, — неожиданно мягко сказала Зинаида.

— Я тебя... — Ипполит Анемподистович набрал возду-

ха, как перед прыжком в холодную воду, — я тебя всё ещё люблю. Вот. Сказал. И это чистая правда, без всяких скидок. И даже то, что ты фальшивишь, — я и за это тебя люблю. Потому что это твоё фальшивленье, оно... оно родное. Как скрип двери в прихожей или как попугай этот дурацкий. Если бы ты вдруг заиграла правильно — я бы, наверное, испугался ещё больше.

Зинаида Пална посмотрела на мужа долгим взглядом. Потом вдруг всхлипнула — совершенно не по-светски, не по-консерваторски, а как-то по-детски, носом, — и уткнулась лицом в его плечо.

— Дурак ты, Ипполит, — сказала она сквозь слёзы. — Пятнадцать лет дурак. Я ведь тоже тебя люблю. И тоже неизвестно за что. Может, как раз за то, что ты меня боишься. Это единственное, что напоминает мне, что я всё-таки чего-то стою.

Доктор Муркин, наблюдавший эту сцену из своего угла, тихо, на цыпочках, вышел из гостиной. Он был человеком науки, но не был лишён душевной чуткости. К тому же он наконец-то вспомнил, куда задевал блокнот — тот оказался в левом ботинке, — и теперь горел желанием записать наблюдения о неожиданном психотерапевтическом эффекте «Радиофонографа».

А в гостиной стало тихо. Аппарат гудел, но теперь этот гул напоминал скорее мурлыканье сытого кота, нежели грозный электрический бас. Зелёная лампочка мерцала умиро-

творённо, почти ласково.

Попугай Карл, который, как мы помним, обладал удивительным чутьём на моменты, требовавшие комментария, склонил голову набок и вдруг, ни с того ни с сего, засвистел — не «Со святыми упокой» и не «Корневильские колокола», а что-то совершенно новое, незнакомое.

Прислушавшись, можно было узнать вальс. Тот самый вальс Шопена, который Зинаида когда-то, в незапамятные времена, играла на собственной свадьбе. И — странное дело — птица не фальшивила ни на полтона.

— Слышишь? — прошептала Зинаида, не поднимая головы с плеча мужа. — Даже попугай играет лучше меня.

— Ничего, душа моя, — ответил Ипполит Анемподистович, впервые за пятнадцать лет чувствуя себя не маленьким перепуганным чиновником, а мужчиной, мужем и, страшно сказать, главой семьи. — Ты просто не с того инструмента начала. Может, тебе на чём-нибудь другом попробовать? На барабане, например? Или на трубе? Я слышал, в военных оркестрах дам не берут, но ради тебя я готов похлопотать...

Зинаида подняла голову. В её заплаканных глазах мелькнуло выражение, которое Перетыкин не видел уже много лет — с тех самых пор, когда они ещё не были женаты и ходили гулять в Летний сад, ели мороженое и строили планы на будущее.

— Хлопотать он будет, — сказала она. — Ты сначала со службы не вылети. А потом уже хлопочи.

И улыбнулась.

И в этот самый момент зелёная лампочка на аппарате мигнула — и погасла. Гул прекратился. Рубильник сам собой пере щёлкнулся в положение «Выкл.»

То ли поле рассеялось, то ли аппарат, настроенный на выявление лжи, просто не выдержал такой концентрации чистой правды, какая образовалась в гостинной атмосфере. А может быть — и это объяснение ничуть не хуже прочих, — может быть, доктор Муркин был прав, и электричество действительно не терпит искренности в больших дозах.

Как бы то ни было, вечер завершился мирно. Глаша подала ужин, на сей раз без происшествий. Тёща, не проронившая ни слова за весь вечер, удалилась в свою комнату с бутылочкой валерьяновых капель и томиком житий святых. Муркин, вооружившись отвёрткой, осторожно препарировал замолчавший аппарат, надеясь найти причину его внезапного отключения.

А Ипполит Анемподистович и Зинаида Пална ещё долго сидели в гостинной, пили чай с малиновым вареньем и говорили. О чём? Да обо всём. О том, что никогда не поздно начать сначала. О том, что барабан, пожалуй, действительно звучал бы эффектнее. И о том, что завтра, в понедельник, Ипполиту Анемподистовичу предстоит явиться в департамент — к Козодоеву, который, судя по всему, ещё не забыл про «слабительное» и «бакенбарды».

Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Глава пятая. Признания тёщи на сон грядущий

Человеческая душа, потёмки. Это известно всякому, кто хоть раз пытался понять мотивы ближнего своего, а особенно ближнего, проживающего в одной квартире и именуемого тёщей. Но душа Клеопатры Саввишны была не просто потёмками. Это были потёмки, в которые забрели другие потёмки и, не найдя выхода, поселились там на постоянное место жительства, попутно развесив по углам иконы, укусовые примочки и многолетние обиды.

Доктор Муркин, вооружённый отвёрткой и научным энтузиазмом, копался во внутренностях «Радиофонографа» уже битый час. Аппарат, как мы помним, внезапно замолчал накануне вечером, и теперь изобретатель пытался понять — то ли поломка, то ли временное затишье, то ли машина просто взяла паузу, чтобы переварить полученную информацию. Последняя гипотеза казалась Муркину наиболее правдоподобной. Он уже пришёл к выводу, что его творение обладает зачатками интеллекта — не то, чтобы большого, примерно на уровне таксы, — и теперь размышлял, не написать ли об этом статью в «Вестник экспериментальной психологии».

— Ну что там? — спросил Ипполит Анемподистович, за-

глядывая через плечо доктора. — Починил?

— Я не чиню, я исследую, — с достоинством ответил Муркин. — И потом, аппарат не сломан. Он, видишь ли, перешёл в иной режим. Фаза покоя. Накапливает энергию для следующего сеанса.

— Следующего?! — Перетыкин побледнел. — Ты хочешь сказать, что эта штука снова включится?

— Несомненно. Вопрос лишь в том — когда и с какой силой. — Муркин потыкал отвёрткой в какую-то спираль, отчего из рупора вылетела струйка синеватого дыма и запахло палёной изолентой. — Видишь? Реагирует. Живёт. Дышит, можно сказать.

— Дышит, — обречённо повторил Ипполит Анемподистович. — Машина, которая заставляет людей говорить правду, ещё и дышит. Прекрасно. Просто замечательно. У меня в гостиной поселилось электрическое чудовище с дыханием, а тёща ещё не в курсе, потому что она с утра заперлась у себя и не выходит.

Клеопатра Саввишна действительно не выходила. После вчерашнего конфуза, когда поле вытянуло из неё признание в многолетней нелюбви к зятю, она сочла за лучшее временно самоизолироваться. В её комнате теплилась лампадка, пахло ладаном и валерьянкой, а сама Клеопатра Саввишна, облачённая в тёмное платье (она и в будни носила тёмное, но сегодня — особенно тёмное, почти траурное), сидела в кресле и перебирала чётки.

Она размышляла. Размышления её были горьки и хаотичны — примерно, как содержимое аптечного пузырька, который опрокинули и не собрали.

С одной стороны, она чувствовала себя глубоко оскорблённой. Подумать только — её, Клеопатру Саввишну, в девичестве Барклай-де-Толли (да-да, она утверждала, что состоит в отдалённом родстве с тем самым Барклаем-де-Толли, хотя злые языки — а именно, все остальные родственники — уверяли, что её дед был просто Барклаем, без всяких «де» и «Толли», и держал скобяную лавку на Выборгской стороне), — её, потомственную дворянку, выставили на посмешище! Принудили говорить то, что она не намеревалась говорить! Да ещё при кухарке! Да ещё при этом шарлатане Муркине с его вечным пенсне и вечными проводами!

С другой стороны — и это было самое неприятное — Клеопатра Саввишна чувствовала нечто вроде облегчения. Слова, которые так долго сидели в ней, как заноза, которую не выгнать, — эти слова наконец-то вышли наружу. И оказалось, что мир не рухнул. Небо не упало на землю. Зятюшка, конечно, ходил теперь с таким лицом, будто ему предъявили счёт на кругленькую сумму, — но не умер же, не испарился, не подал на развод.

«Может, — думала Клеопатра Саввишна, перебирая чётки, — может, в этой правде и впрямь есть нечто целительное? Может, зря я столько лет молчала? Может, сказать ему всё, до конца, — и будь что будет?»

Но тут же другая половина её души — та самая, которая ведала благочестием и общественным мнением, — одёргивала первую: «Опомнись, Клеопатра! Что значит — сказать всё? Ты хоть помнишь, что именно ты скрываешь?»

И Клеопатра Саввишна замолкала даже мысленно. Потому что помнила. Очень хорошо помнила.

День тем временем клонился к вечеру. Солнце, заглянувшее было в окна гостиной, передумало и убралось восвояси — вероятно, тоже почувствовало неладное. В доме стояла тишина, та особенная, тревожная тишина, какая бывает только перед грозой — или перед очередным включением адской машины.

Муркин, утомлённый исследованиями, уснул прямо в кресле, уронив отвёртку на пол. Попугай Карл, сидя в клетке, чистил перья и время от времени произносил загадочную фразу «Доктор, вас!» — наследие циркового прошлого, смысл которого был утерян для всех, включая самого попугая. Зинаида Пална уехала к кухне Лидочке — во-первых, чтобы пресечь возможные сплетни личным присутствием, а во-вторых, чтобы немного отдохнуть от дома, который за последние дни превратился в филиал сумасшедшего дома.

Ипполит Анемподистович, оставшись в гостиной один (если не считать спящего Муркина и попугая), пытался читать газету. Но строчки прыгали перед глазами. Мысли вертелись вокруг завтрашнего визита к Козодоеву, и мысли эти были одна мрачнее другой. Ему представлялся то приказ об

увольнении, то скамья подсудимых, то, на худой конец, побег в Америку — без денег, без знания языка, с одним лишь саквояжем и тётчиным проклятием на дорожку.

Он так глубоко погрузился в эти безрадостные фантазии, что не сразу заметил, как зелёная лампочка на аппарате снова зажглась.

А когда заметил — было уже поздно.

Лампочка горела ровным, каким-то даже добродушным светом. Гул возобновился — тихий, почти ласковый, как мурлыканье кота, который только что вылакал сливки и теперь ждёт продолжения банкета. Аппарат пробудился.

— Павел Ильич! — зашипел Перетыкин, толкая Муркина в бок. — Просыпайтесь! Оно опять!

— А? Что? Где пожар? — Муркин вскинулся, едва не смахнув пенсне в чернильницу. — А, аппарат! Ну да, я же говорил — фаза покоя завершилась. Теперь начнётся активная фаза. Любопытно, на ком сегодня отработает.

Словно в ответ на его слова, где-то наверху скрипнула дверь. Затем послышались шаги — тяжёлые, мерные, исполненные решимости. Так ходят люди, которые приняли трудное решение и теперь идут приводить его в исполнение, невзирая на возможные жертвы.

В гостиную спускалась Клеопатра Саввишна.

Она была в том самом тёмном платье, при наперсном кресте, с чётками в одной руке и баночкой нюхательной соли в другой. Лицо её выражало сложную гамму чувств — в ос-

новном, решимость и праведный гнев, но где-то на периферии, в уголках губ, пряталось нечто иное. Не то сомнение, не то страх, не то предвкушение — словом, та самая «душа-потёмки», о которой мы упоминали в начале.

— Зятюшка, — произнесла она голосом, в котором звякнули все колокола Страстного монастыря разом, — я желаю объясниться.

— Маменька, голубушка, — залепетал Перетыкин, пытаюсь встать так, чтобы заслонить собой аппарат (затея, учитывая габариты обоих, заранее обречённая), — может, не сейчас? Может, завтра? С утра, на свежую голову?..

— Нет! — отрезала Клеопатра Саввишна. — Именно сейчас! Я не спала всю ночь. Я молилась. Я советовалась с отцом Никодимом — мысленно, разумеется, ибо ехать в монастырь я не могла, оставив этот дом без присмотра. И я приняла решение. Я выскажу всё. Всё, что накопилось за пятнадцать лет. А там — будь что будет. Хоть потоп. Хоть конец света. Хоть Смоленская губерния.

Ипполит Анемподистович хотел заметить, что Смоленская губерния — это не совсем конец света, а всего лишь административно-территориальная единица, но благоразумно промолчал. Тем более что Клеопатра Саввишна уже уселась в то самое кресло — роковое, фатальное, против рупора.

Аппарат отозвался немедленно. Гул усилился, зелёная лампочка замигала часто-часто, словно телеграфный аппарат, передающий срочное сообщение. Муркин, затаив ды-

хание, придвинулся поближе. Попугай, напротив, забился в дальний угол клетки — инстинкт подсказывал ему, что сейчас начнётся нечто такое, по сравнению с чем цирковые представления — просто детский лепет.

— Итак, — начала Клеопатра Саввишна, и голос её зазвучал как-то необычно, словно сквозь неё говорил кто-то другой — более древний, более мудрый и, как ни странно, более человечный. — Я должна признаться. Я никогда не любила вас, Ипполит. С первого дня. С той самой минуты, как вы явились просить руки моей Зинаиды в этом самом сюртуке (который, замечу в скобках, был вам велик в плечах, и это символично), — с той самой минуты я знала: не пара вы ей. Не пара!

— Маменька, это мы уже слышали, — робко вставил Перетыкин.

— А вы не перебивайте старших! — отрезала тёща. — Да, слышали! Но не всё! Вы думаете, я только вас не любила? Ошибаетесь! Я и покойного своего супруга, Степана Аркадьевича, царствие ему небесное, тоже не любила!

Муркин, при слове «покойный», машинально перекрестился — он был человеком не особенно религиозным, но, как всякий экспериментатор, на всякий случай соблюдал протокол.

— Не любила! — продолжала Клеопатра Саввишна, и голос её набирал силу, как паровой котёл, в котором открыли клапан. — Я вышла за него по расчёту. Думала — человек

с положением, с достатком, дача в Павловске, выезд, ложа в Мариинском! А он оказался картёжником. Всё, что у меня было — приданое, драгоценности, даже серебряный сервиз моей бабушки, — всё спустил в штосс и в винт. Умер — и оставил меня с долгами и с Зинаидой на руках. Вот вам и расчёт.

Она перевела дух. Перетыкин и Муркин сидели, боясь пошевелиться. Попугай, высунув голову из-под крыла, внимательно слушал.

— А знаете, почему я всё время хожу в тёмном? — продолжала Клеопатра Саввишна. — Вы, небось, думаете — благочестие, скромность, траур по мужу? Как бы не так! У меня просто нет других платьев! Все светлые наряды я продала ещё пятнадцать лет назад, чтобы заплатить долги Степана Аркадьевича! Да-да, те самые долги, о которых никто не знает! Даже Зинаида не знает! Она думает, что живёт на проценты с материнского капитала — а на самом деле капитала нет! Есть только моя пенсия, да и та — семьдесят пять рублей, которые я получаю по протекции того самого Корюшкина, которого вы, Ипполит, давеча так неучтиво разоблачили!

— Маменька, — тихо сказал Перетыкин, — я не разоблачал...

— Молчите! — Тёща взмахнула рукой с чётками, едва не задев рупор аппарата. — Я ещё не закончила! Вы думаете, почему я так рьяно хожу в церковь, пощусь, молюсь? Потому

что я боюсь. Боюсь, что грехи мои — а их у меня, доложу я вам, целый синодик, — перевесят все мои свечки и поклоны. Я завидовала. Я злобствовала. Я желала зла ближним. Я, когда узнала, что у соседки Дыбкиной пропала брошка, — я радовалась. Искренне, от души радовалась. Потому что у меня такой брошки никогда не было и не будет, и пусть же и у неё не будет! Вот!

Слёзы потекли по лицу Клеопатры Саввишны. Но она не замечала их — или не желала замечать. Она говорила и говорила, и с каждым словом лицо её светлело, а спина — странное дело — распрямлялась.

— А ещё... — она запнулась, словно стояла на краю пропасти и решалась на последний шаг. — А ещё я подливала вам, зятюшка, в чай успокоительные капли. Да-да! Те самые, что доктор Муркин прописал мне от нервов. Я считала — если вы будете спокойнее и вялее, вы будете меньше меня раздражать. А капли эти, между прочим, накапливаются в организме! От них, говорят, бывает ранняя лысина и несварение желудка. И то, и другое у вас, как я погляжу, в наличии имеется.

Ипполит Анемподистович машинально провёл рукой по голове. Муркин, как учёный, заинтересованно подался вперёд — он и не подозревал, что его препарат обладает таким пролонгированным действием.

— И ещё... — голос Клеопатры Саввишны упал до шёпота. — И ещё — генерал Корюшкин. Я не просто так его

вам в пример ставила. Я знала, что он не генерал. Конечно, знала! Я знала это ещё до того, как навела справки! Но я надеялась, что Зинаида... если вдруг вы, Ипполит, окажетесь совсем невыносимы... то, может быть, Корюшкин... как запасной вариант...

— Маменька! — вскричал Перетыкин, вскакивая со стула. — Вы что же — хотели выдать мою жену замуж за другого?!

— А что мне оставалось?! — взвилась Клеопатра Саввишна. — У меня на руках дочь! Образованная, красивая, талантливая! — Тут она запнулась, вспомнив, очевидно, вчерашние признания Зинаиды насчёт Рубинштейна и «Молитвы девы». — Ну, пусть не талантливая, но образованная и красивая! А вы акцизный чиновник! С перспективой титулярного советника и казённой квартиры в Смоленской губернии! И вы меня осуждаете?!

В гостиной повисла пауза — та самая, которая, согласно театральным канонам, должна предшествовать финальному монологу. Муркин затаил дыхание. Попугай, казалось, тоже.

Ипполит Анемподистович стоял посреди комнаты, опустив руки. В голове его вихрем проносились мысли — одна фантастичнее другой. Его тёща, эта суровая, богобоязненная, пахнувшая ладаном и уксусом женщина, на протяжении пятнадцати лет мечтала выдать его жену за другого. Подливала ему успокоительное. Скрывала семейное разорение. Завидовала соседям. Радовалась чужим несчастьям.

Но странное дело — злости не было. Вместо злости было какое-то новое, непривычное чувство. Не то жалость, не то понимание, не то то самое пресловутое «приятие ближнего в его несовершенстве», о котором так хорошо пишут в духовных книгах, но которого почти невозможно достичь на практике.

— Маменька, — сказал он наконец, и голос его прозвучал неожиданно мягко, — маменька, а ведь я на вас не сержусь.

Клеопатра Саввишна, ожидавшая чего угодно — крика, проклятий, вызова околоточного, — вздрогнула и подняла заплаканные глаза.

— Как — не сердитесь?

— А так. Не сержусь, и всё. Я, знаете ли, когда, по правде, жить начал, — тут он покосился на аппарат, — я понял одну вещь. Каждый человек что-то скрывает. Каждый чего-то боится. Каждый в чём-то виноват. И если на всех за это сердиться — никаких нервов не хватит. Так что... спасибо вам за правду. За горькую, неприглядную, но правду. Теперь жить будем по-новому. Без капель в чае. Без Корюшкина. Без брошек соседки Дыбкиной.

— Про брошку — это я метафорически, — всхлипнула тёща. — Я её не крада. Только радовалась.

— И на том спасибо, — серьёзно кивнул Перетыкин.

И тут произошло нечто, чего не видывали стены перетыкинской гостиной за все пятнадцать лет существования этого семейства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.